

Василий Никифоров-Волгин

Ключи заветные от радости



Василий Акимович Никифоров-Волгин

Ключи заветные от радости

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11828209

Ключи заветные от радости. / Никифоров-Волгин В.А.: ДАРЪ; Москва; 2010

ISBN 978-5-485-00298-5

Аннотация

В книге собраны произведения известного русского писателя Василия Никифорова-Волгина (1901–1941 гг.). Волею судеб оказавшись вдалеке от России, он обращается в своем творчестве к теме Родины, веры, к проблемам добра и зла и нравственного выбора. Герои Никифорова-Волгина – это приобщающийся к Православию ребенок, красноармеец, раскаивающийся в своих грехах, солдат, проявивший к своему врагу сострадание на поле боя, священник, испытавший на себе тяготы войны, революции, гонений на Церковь. Писатель показывает нам простых русских людей. У них разные судьбы и жизненные пути, но любовь к своему Отечеству, которую они носят в сердце, объединяет их. Нравственным ориентиром для них становится вера – единственная, по мнению самого Никифорова-Волгина надежная опора в жизни.

Содержание

Предисловие	5
Ключи заветные от радости	7
Васька и Гришка	7
Любовь – книга Божия	11
В школу	14
Митрошка	16
Древний свет	19
Серебряная метель	22
Крещение	25
Кануны Великого Поста	27
Великий Пост	30
Торжество Православия	32
Преждеосвященная	35
Исповедь	37
Причащение	39
Двенадцать Евангелий	41
Плащаница	43
Канун Пасхи	45
Великая суббота	47
Светлая заутреня	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Василий Никифоров-Волгин

Ключи заветные от радости

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

интернет- портал «Православная книга России»

www.pravkniga.ru

Предисловие

Василий Акимович Никифоров родился в 1901 году в деревне Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии в простой русской семье. Он не смог получить хорошего образования: после обучения в церковно-приходской школе у семьи не было средств отдать талантливого ребенка в гимназию. Василию приходилось работать: в поле и в сапожной мастерской. К тому же годы его взросления были временем войны: сначала – Первой мировой, затем – Гражданской. Все это время семья Василия Никифорова живет в Нарве, недалеко от мест военных действий. На этом фоне бедствий и лишений особенно ярко выступает природный талант писателя, его неутомимая жажда к учению и несравненная любовь к Родине.

Можно сказать, что главной школой для Василия Никифорова стала Церковь. Благодетельство, воспитанное матерью, затем учение в церковно-приходской школе, после того – служение псаломщиком – все это воспитало в молодом человеке ту духовную основу, на которой вырос его писательский талант и глубокое понимание классической русской литературы.

В 1917 году, не выезжая из Нарвы, Василий Никифоров стал эмигрантом – жителем независимой Эстонии. Однако духовная связь с Россией сохранялась: не случайно он подписывал свои статьи, рассказы и очерки псевдонимом В. Волгин – в честь великой русской реки, возле которой прошло его детство. В 1920 году Никифоров-Волгин участвовал в создании «Союза русской молодежи», который устраивал в Нарве литературные вечера и концерты. Годом позже он публикует свою первую статью «Исполните свой долг!» в таллинской газете «Последние известия» и вскоре начинает постоянно работать журналистом и редактором. Позднее он становится одним из учредителей русского спортивно-просветительного общества «Святогор», а затем – Русского студенческого христианского движения. Вспоминая 20-е годы и свое участие в РСХД в Прибалтике, архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской) в старости писал, что тот незабываемый период был «религиозной весной русской эмиграции».

В РСХД Никифоров-Волгин познакомился с Михаилом Ридигером, жителем Таллина, участником богословско-пастырских курсов, которые открыл в 1930-е годы протоиерей Иоанн Богоявленский (будущий епископ Таллинский Исидор). Как свидетельствует архивная фотография, Василий Акимович был знаком и с сыном М.А. Ридигера, будущим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

К середине 1930-х годов В.А. Никифоров-Волгин – уже известный писатель. Журнал «Иллюстрированная Россия» награждает его первой премией за рассказ «Архиерей». В таллинском издательстве «Русская книга» публикуются два сборника рассказов Никифорова-Волгина – светлая книга «Земля именинница» в 1937 году и, годом позже, трагический «Дорожный посох».

Стиль произведений В.А. Никифорова-Волгина необычен – в простой, почти современный язык вплетаются «молнии слов светозарных» – возвышенные церковнославянские слова и множество полузабытых выражений из глубины народной, «деревенской» речи. Это виртуозное владение богатством русского языка не имеет ничего общего с эстетским самолюбованием; лексическое разнообразие этих рассказов сочетается с их доступностью для самого широкого читателя. Тематика творчества В.А. Никифорова-Волгина достаточно разнообразна, но о чем бы он ни писал – о детских шалостях, старинных обычаях или страшных бедствиях, каждая его строчка проникнута любовью к России – вроде бы такой близкой, но при этом бесконечно далекой и недоступной. России, которую мы потеряли.

Летом 1940 года в Эстонии была установлена советская власть. Вскоре В.А. Никифоров-Волгин был арестован НКВД и отправлен по этапу в Киров. 14 декабря 1941 года Василий Акимович Никифоров был расстрелян «за издание книг, брошюр и пьес клеветни-

ческого, антисоветского содержания». Точное место его захоронения на Петелинском кладбище, где покоятся жертвы красного террора, неизвестно.

* * *

Произведения В.А. Никифорова-Волгина в этом сборнике разделены на четыре части.

К первой из них – «Ключи заветные от радости» – относятся рассказы, в которых писатель с неподражаемой искренностью и простотой говорит о первом духовном и житейском опыте ребенка. Тексты расположены не в порядке их написания, а в порядке взросления и воцерковления их юного героя.

В разделе «Помогите мне выпустить песню на свободу» собраны рассказы для старших школьников и взрослых. Талант Никифорова-Волгина раскрывается здесь в разных жанрах: ироничного очерка, лирической думы о навсегда ушедшей старине, глубокого рассказа о святых и грешниках, которые живут среди нас.

«Горе родине твоей» – собрание рассказов о трагической судьбе России в годы кровавой революции, Гражданской войны, гонений на Церковь. Пронзающие душу истории о человеческих страданиях окрашены надеждой. Смирение и вера невинных жертв нередко приводит жестоких мучителей к искреннему покаянию.

Ту же самую тему продолжает и повесть В. А. Никифорова-Волгина «Дорожный посох», составляющая отдельную, заключительную часть этого издания.

Ключи заветные от радости

Васька и Гришка

На заднем дворе, поросшем крапивой и чертополохом и загроможденном керосиновыми и селедочными бочками купца Данилова, с Гришкой Гвоздевым лежим на крыше старого приземистого сарая и греемся на солнышке.

С большого двора, кругом застроенного старыми трухлявыми домами, к нам не умолкая доносится протяжный шум с разнообразными оттенками и отголосками.

Раздаются звонкие залиvistые голоса ребят. Неистово визжит на кого-то еврейка Фрина. Истошным плачем заливается еврейчик Апке. Грохочут машины в типографии Мельникова. Дворник дядя Давыд кого-то разносит – «нет чего хуже»: «Окаянник!.. Смушанник!.. Раздуй тебя горой, идола эфиопского...» – черными птицами носятся его слова в знойном воздухе. Из подвала жестянщика Шмоткина бегут частые, торопящиеся звуки постукиваемой жести.

У Шмоткина мы недавно с Котькой Ежовым с окна кисель стянули. Съели мы его на заднем дворе, а тарелку из-под киселя обратно на окно поставили. Шмоткин меня почему-то не любит и называет «посадским». Из окон пивной несется пьяный нестройный гул, стоны расстроенного баяна, и где-то раздается пронзительный свисток городского.

И поверх всех этих звуков, так режущих ухо, окрашивая наш двор в какие-то пыльные тона, плыла из мастерской сапожника Карпина дружная песня мастеровых под drobный аккомпанемент молотков, постукивающих кожу.

Словно золотая искра, носится песня в воздухе и окрашивает наш шумный, дурно пахнущий двор в яркие золотые цвета...

Песня мастеровых напоминает мне просторные поля нашей покинутой деревеньки, думный бор с заповедными сказками, омутистую речку, старозаветный домик бабушки и златоверхую, одетую мхами и травами старую церквушку с звонами-наигрышами,

Я зажмуриваю глаза, и чудится мне в красноватой дымке: вот я у бабушки Филиппа в горнице. Сажу за длинным дубовым столом, в бордовой рубашке, подпоясанный афонским пояском, напомаженный деревянным маслом, и за обе щеки уминаю сдобные ржаные лепешки.

Рядом со мной сидит бабушка, смотрит на меня, такая ласковая и светлая, и приговаривает любовно:

– Кушай, Васенька, кушай. Никого не слушай... Наедайся, сынок, досыта...

В горнице чисто и нарядно. Перед образом Купины Неопалимой стоит на коленях бабушка с лестовкой в руке и воздевает к нему умиленные очи. Около бабушки игриво юлит кот, прозванный за свой ободраный вид Обдирышем. Кот ласково урчит, трется выпачканной в саже мордой о бабушкино брюхо. Дед уставно читает молитвы, хмурится на кота и старается отогнать его жилистой рукой. А кот не отстает от деда. Знай юлит между ног и мурлычет, трубой задрал хвост. Дед терпит, терпит, наконец, раззадоренный, хватается кота за шиворот и отбрасывает его к самому порогу.

– Уведи ты его, пса неприкаянного! – неистово кричит бабушка на бабушку, не подымаясь с колен. – Ишь пристал, нечистая сила!.. Богу помолиться не даст, верблюдов астраханский. Так и юлит кошачья морда. Прорвы-то ему нет!..

Бабушка выбрасывает кота за дверь. А бабушка, по-прежнему спокойный и умирительный, уставно вычитывает молитвы по старому, воском закапанному Часовнику. Слова дедо-

вой молитвы падают веско, степенно, рассудительно, словно пятаки опускаются в церковную кружку.

За окном ребятишки на пыльной дороге в бабки играют и давно уж кличут меня на улицу звонкими зазывными голосами...

– Пещера Лейхтвейс! Спишь, что ли? – толкает меня в бок Гришка Гвоздев, мой душевный приятель, прозванный за свою худощавость «стямым». А я его называю «Капитан Немо».

– Закурим, что ли? – важно, как большой, цедит Гришка, залезая в карман широких синих брюк и вынимая махорку в мешке из-под кофейника вместо кисета.

Неумело свертываем «кручонку» и с наслаждением затягиваемся забористым дымом.

– Капитан Немо! Поедем сѐдни по окяну в Калифорнию на Аляску. И погода к тому благоприятствует. Право слово! – обращаюсь я к Гришке, кольцами выпуская дым кверху.

«Капитан Немо» спокойно меня выслушал, затянулся «в оstadний разок» замусоленным окурком и важно процедил сквозь зубы:

– Пещера Лейхтвейс!.. Вы сейчас в состоянии решительной невменяемости! – Гришка старается говорить в нос «по-барски» и «по-благородному» разводит пред своим корявым носом грязными пальцами.

– Сейчас, Пещера Лейхтвейс, дует северо-восточный муссон с проливными дождями. Нашим маленьким пирогам может грозить ураганная опасность... Это безумие с вашей стороны пускаться при таких обстоятельствах по стихии...

Гришка с авторитетной снисходительностью смотрит на меня свысока, прищулив и без того узенькие свои хитроватые глазки. Я с почтением смотрю на Гришку и невольно соглашаюсь с его доводами, несмотря на то что стоит сейчас хорошая июньская погода. Солнышко так и смеется в налившемся истомною синью небе, и не грозит, видимо, никакой северо-восточный муссон с проливными дождями.

Мне хочется возразить Гришке, чтобы не ударить в грязь пред его ученостью и показать, что и я что-нибудь в муссонах да в стихиях разных толк понимаю.

– Нашим пирогам не может грозить стихийный муссон, этот... как ево, самой что ни на есть, – важно, с надутым видом произношу я.

– Не пирогам, а пирогам! – поправляет меня Гришка и не дает мне возможности высказать мои метеорологические соображения.

– Ну а все-таки, друг мой. Пещера Лейхтвейс, я принимаю ваше предложение. Едем. Если нагрянет в пути муссон с проливными дождями, мы можем укрыться на острове «Белолицых» в хижине дяди Тома.

* * *

Собрались шумной гомонливой толпой к реке, к самой пристани, где стоят на причале лодки. Тут и Котья Ежов, и Фольке Шмоткин, Филька Рюхин и мы с Гришкой.

Не знаю, для какой надобности я стащил из кладовой тяткин кожан, а из дома сапожный ножик с тяткиного верстака. В кармане у меня засунута гомзуля¹ пирога с капустой.

Гришка для пущей важности перекинул через плечо ремень и вооружился сломанной палкой из-под швабры. На голове у него соломенная шляпа с продырявленным верхом, и оттуда задорно глядит прядь Гришкиных волос.

Смеется яркий день, заласканный солнышком. Речка играет чистой серебристой зыбью. Стучит, шумит, взвизгивает на том берегу лесопильный завод. Тарахтит лебедка. На

¹ Ломоть (диал.).

плотах тюкают топоры и раздаются песни. Деловито звенят якорные цепи на ватной пристани, и пронзительный свисток парохода колышет знойный воздух.

Мы садимся в большую вместительную лодку. Все наше удовольствие – это покачиваться на ней и с помощью длинной, привязанной к пристани цепи аршина на три отплыть вправо или влево.

Гришка сильным ударом оттолкнул лодку от пристани в полной уверенности, что она, как всегда, привязана цепью к берегу, а лодка-то, на наше с Гришкой счастье, по какой-то причине была отвязана, и мы неслышно, без руля и весел скользнули вперед, следуя за извилинами речонки, минуя берег, пристань, купальню...

– Лебятя, сто это такое? Смотлите, лодка-то?.. Потонем есо без весел-то! – жалобно захныкал Котька и пытался сделать движение в воду.

– Эй, вы!.. Васька и Гришка... Рады, черти!.. Куды это вы? Глядите, отвязались! – набросились на нас и другие.

Лодка плывет бесшумно, тихо покачиваясь на маленьких ласковых волнах. Плывут мимо красивые очертания города в раме веселой зелени. Чудно изменившимися кажутся нам знакомые дома, старые стены крепости. На душе тревожная хрупкая радость.

На середину реки выплыли. Мимо нас проезжают на лодках, глядят на нас и смеются.

Мы уже освоились со своим положением. Смех, шутки так и рассыпаются по реке золотистыми блестками. Черпаем руками воду, брызгаемся и моем свои чумазые, по неделям не мытые рожицы.

Гришка из ремня изобразил род бинокля и, нахмуренный, сосредоточенный, обозревает окрестность; изредка вскидывается на нас и важно произносит, шуруя от солнца свои плутоватые глазки.

– Сичас мыс Доброй Надежды будет!.. Остров «Белолицых» уже виден. Дядя Том сидит на берегу и жарит над костром рыбу. Северо-восточный муссон не грозит нашим пирогам!..

Котька лег на дно лодки и смотрит, очарованный, в синее небо наивными простоватыми глазками. Филька зачерпнул в фуражку воды и пьет с наслаждением большими глотками, обливая рубашку.

– Не хотите ли виски? – предлагает он нам с комическими ужимками.

Фольке снял Филькину фуражку и вылил ему за шиворот всю воду. Филька сердится и хватается Фольку за волосы.

А я сижу на корме в тяткином кожане, уписываю за обе щеки пирог с капустой и мечтательно смотрю в синюю даль, похожую на полосу моря.

И думается мне, чумазому мальчугану, что за этими синими лесами, полями и домами раскинулась другая страна – самая хорошая и светлая на свете – это моя деревня. И в этой стране-деревне очень хорошо и ласково. Там моя бабушка, и она печет очень «скусные аржаные» лепешки, и дедушка Филипп, самый мудрый на свете, который поет древние заунывные стихи и важно рассказывает диковинные сказки...

– Ребята! Гляди... кит ползет! – возглашает Гришка.

– Поймать бы!.. На дворе девчонкам показать.

Мимо лодки плывет брюхом вверх дохлый налим. Со смехом вытащили.

– Лебятя!.. Глядите... дядя Галасим за нами едет! – с ужасом произносит Котька, собираясь плакать.

И правда, к нашему ужасу, видим, как к нам приближается лодка с рослым перевозчиком Герасимом с чугунными волосатыми кулачищами и суровыми глазами под густыми сдвинутыми бровями.

Мы скованы страхом, растерянностью; и, будто не живы, стали ждать дядю Герасима. Котька заканючил ноющим плачем.

Лодка дяди Герасима спокойно подъехала к нам.

Столкнулись бортами.

– Давайте цепь... дьяволы! – рявкнул на нас, растерявшихся, дядя Герасим.

На буксире нас подвезли к пристани. Первым стал вылезать из лодки Гришка и пробовал было ласково заговорить с Герасимом:

– А что тебе, дяденька, не тяжело было везти нас?

Герасим вместо ответа как двинет Гришке по затылку, Гришка так и покатился по скользкой пристани и одной ногой угодил в реку и вымочил брюки.

Со страхом стал вылезать и я в тяткином кожане и сдохлым налимом в руке. Влетела и мне затрещина по загривку.

Идем по улице. Гришка хвастает: «Мне ничуть больно не было». Я бережно несу за пазухой налима, а сам реву горькими слезами. На меня прохожие смотрят и смеются. Видимо, хорош был в длинном кожане и сдохлым налимом под мышкой.

Пришли домой поздно вечером. Мне дюже влетело от тятки за кожан и потерянный сапожный ножик.

У Гришки мокрые брюки высохли и вместо синего цвета приняли зеленый, и прозвали Гришку после этого «Тритоном».

Эх, милая глупая пора!..

Любовь – книга Божия

Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города в трухлявом бревенчатом доме – окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишенным сана дьяконом Даниилом – саженого роста и огромного голоса детиной.

Про Филиппку и Агапку здесь говорили:

– Много видали озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось!

Было им лет по девяти. Отец одного был тряпичник, а другого – переплетных дел мастер. Филиппка – маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком и с петушком на большой вихрастой голове. Всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диких штанах – одна штанина была синяя, а другая желтая и с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал:

– Удивительно, Марья Димитриевна!

Агапка был тощим, в веснушках, зоркоглазым и вертким. Зимой и летом ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке-бескозырке. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил:

– Не называй меня больше Агапкой!

– А как же прикажете вас величать? – насмешливо спросила та.

Агапка звякнул шпорами и лихо ответил:

– Суворовым!

Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину и продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольню и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество.

Было озорство почище и злее, вызывавшее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной. Звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет:

– Дядя Михайло! У твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют!

Обожженный ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой.

– Изменщица! – рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. – Где Сенька?

Та клянется и крестится – ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке – молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька. Вздывается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку втирается городской и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька ни при чем.

– Я не антиресуюсь вашей супругой, – говорит он, – немыслимое это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и карзубая...

От этих выражений кузнец опять наливается злобой:

– Моя жена огурец? Моя жена карзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Ра-аз! У-у-х!

И опять начинается драка. Расстрига Даниил когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих.

– Мне бы только найти, – гудел он, пробираясь вдоль заборов, – я бы в студень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти!

К Даниилу мягким шаром подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой:

– Дядюшка дьякон, ты кого ищешь?

– Черта, брат ситный, черта, который весь мир мутит! – в отчаянности вопиал дьякон. –

Не видал ли ты его, ангельская душенька?

– Видал! Он невядалеча здесь... Пойдем со мною, дядюшка дьякон... Я покажу тебе!

Филиппка подводил Даниила к дому ростовщика Максима Зверева.

– Он тут... в подвальчике... – потаенным шепотом объяснял Филиппка.

Даниил выпрямлялся, засучивал рукава гологузой куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика:

– Ну, Господи, благослови! Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу.

Из подвального помещения вылетал похожий на мошь низенький старичишка с перекосенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил.

– Держите Вельзевула! – грохотал он исступленной медью страшного своего баса. – Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе Царство Небесное!

Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистком городского, и все становились веселыми и как бы пьяными.

За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загревку.

Однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой...

Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине и на том же дворе, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома. Всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой.

Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотистую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо от чего вспыхнул весь, застыдился вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью... Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал.

В этот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал:

– Меня зовут Филипп Васильевич!

– Очень приятно, – тростинкой прозвенела девочка, – а меня Надежда Борисовна... У тебя очень красивый костюм, как в театре...

Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои.

После этой встречи его душа стала сама не своя.

Он пришел домой и попросил у матери мыла – помыться и причесать его. Та диву далась:

– С каких это пор?

Филиппка в сердцах ответил:

– Вас не спрашивают!

Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже был вымытым, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, и вместо опорок – высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели.

Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблоков, то семечек, а однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности.

Два дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал:

– Хочу с тобою поговорить!

– Об чем речь? – спросил Филиппка, поджимая губы.

Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник.

– Видал?

– Вижу... десять копеек!

– Маленькая с виду монетка, – говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами, – а сколько на нее вкусностей всяких закупить можно. К примеру, на копейку конфет «Дюшес» две штуки, за две копейки большой маковый пряник...

– Во-о, вкусный-то, – не выдержал Филиппка, замуривая глаза, – так во рте и тает. Лю-ю-блю!

– На три копейки халвы, на копейку стакан семечек, на две – каленых али китайских орешков, – продолжал Агапка, играя серебряком, как мячиком.

– Ну, и что же дальше? – жадно спросил Филиппка, начиная сердиться.

Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как «Гуак верный воин», про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник.

– Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу! Но только прошу тебя... – здесь голос Агапки дрогнул. – не ухаживай за Надей... Христом Богом молю! Согласен?

Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул:

– Согласен!

На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.

Когда наелся он всяких сладостей, так что мутить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался.

На другой день ему стыдно было выйти на улицу, он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть, и перед смертью попросить прощения у Нади, и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы!»

Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл.

И вдруг в думы его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?»

Филиппка вспомнил, что в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание.

«Драть будут... – подумал он, – но ничего, претерплю. Не привыкать!»

Филиппка вытащил из коробочки гривенник. Выбежал на улицу. Разыскал Агапку и сказал ему:

– Я раздумал! Получай свой гривенник обратно!

В школу

В окно брезжит мутное, иззябшее утро хмурого октября. Воеет сиверко², нагоняя на душу тягучие, серые думы. Стучит неплотно притворенный ставень. Сеет дождь. За окном жметесь от холода старая береза и мокрыми сучьями царапает по заплаканному окну.

Я лежу в постели, покрытый бараньей шубой, смотрю на мутное оконце и с горечью прислушиваюсь, как стонет и воеет непогода.

В комнате у нас уютно. Мать топит большую русскую печь. Пламя так и полыхает, обдавая приятным теплом. Домовито пахнет дымом и тянет острой стружкой жареного картофеля. На столе шумит самовар и весело посматривают на тебя румяные баранки.

Отец при свете яркой лампы сидит у верстака, подбивает подметку на большом рыбацком сапоге и поет:

Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь.
Как по этому колечку
Буду плакать день и ночь.

«Петьке и Кузьке хуже всего, – поглядывая в окно, размышляю я о своих приятелях, недавно поступивших в школу. – Сейчас встанут, не успеют поесть, как следовать быть, по такой размокропородице в школу пойдут... Никогда я в школу ходить не буду... Не на што. Ну ее к ляду. От учителей, говорят, житья никакого нет. Дома куды лучше. Никакой тебе заботушки... Сейчас встану, поем и буду тятке помогать сапоги подбивать... Хо-о-рошо!..»

Трещат сырые дрова, рассыпаясь искрами, как золотой мошкаррой. Далеко вылетают из печи угольки – гости будут.

По стене, уставленной целым рядом колодок, как живые трепыхаются розоватые отблески.

За окном так же уныло и безрадостно сечет дождь. В сероватой мути рассвета чернеет двор с грязными лоснящимися крышами, а над ним висит серое, неприглядное небо.

Я думаю. О многом думаю. Мысли бегут вихрем в моем детском мозгу, сшибают одна другую, перескакивают с одного места на другое, то выплывают, округляются, то рассыпаются и тают, словно серебристые тонкие волны.

То я думаю о старой березе за окном: зябко ей, наверное, ишь как, сердешная, царапает она по окну сучьями – словно просит впустить ее погреться. Одеть бы на нее шубу...

То думаю о школе, куда поступили Петька с Кузькой.

И представляется мне школа с рассыпанным горохом по полу, а на нем стоят ученики на голых коленях, и сердитые учителя изо всей силы дерут их за волосы...

– Митроша! – вдруг неожиданно нарушает отец мирное течение моих детских мыслей.

Я удивленно насторожился и затаил дыхание: «Почему это он меня сегодня так ласково называет? Раньше все Митрошка, вахлак, эфиоп, а теперь поди ты... Ми-итроша!.. Чудно уж что-то! Митрошей зовет только тогда, когда именинник али в большой праздник...»

Мать положила ухват и грустно на меня посмотрела.

Екнуло сердце, томясь каким-то предчувствием.

– Седни я тебя, сынок, благословясь в школу поведу, – ласково, шутливым тоном говорит отец. – Пусть тебя там уму-разуму научат. Полно остреливать-то без дела. Поди соску-

² Северный ветер (диал.).

чился по грамоте-то? Вон Кузька, тебе ровесник, а как учится – словно по лесенке идет... Какую хошь грамоту прочтет. Газеты читает! Во какой складный уродился!..

– И то правда, сынок, – произносит мать и почему-то смахивает слезу с глаз, – учеба нужна; без учебы ты словно темная ночь. Выучись в школе читать. Псалтырь царя Давида почитаешь. На деревню письмо напишешь бабушке Степаниде. То-то обрадуется!.. Вишь, скажет, Митрофан-то какой дошлый стал... Грамоте выучился...

– В школу? – разеваю я от изумления и ужаса рот. – Батюшки, батюшки... Ба...тю... ба...

Жгут слезы. Кривится рот. Хочется залиться безудержным плачем...

Хотел что-то сказать, давился, и выходило какое-то невнятное бормотание. Сдержался, но не заплакал. Шмыгнул носом, заложил руки за голову и почти сразу стал мечтать, глядя в низкий закопченный потолок.

– Выучусь, значит, грамоте.... Напишу письмо бабушке Степаниде... Дорогая, мол, баушка... Я грамоте научился и это самое письмо пишу сам... То-то удивится! Вся деревня, поди, узнает!..

Я зажмуриваюсь от восхищения и уже успокоенный, позабыв про сердитых учителей, спрашиваю отца:

– Тять!.. А скоро в этой самой школе грамоте-то можно научиться?

– А как стараться будешь, голубь мой, – отвечает отец, затачивая голенище.

– Вот твой отец так в две недели грамоту превозмог... Если ты мозговитый – в отца, так в месяц выучишься... Наука-то, она вещь мудреная, сынок, это не сапоги подбивать... Да... Ты в науку-то вникай поприлежнее. Не срами нашу губернию. Когда объясняют что, ты уши-то шире растопырь, не развешивай... Старайся. Лоб искровяни, а своего добейся, учиться не будешь – на глаза не показывайся... Запорю!..

Решительную минуту я задумался и пил чай с баранками несколько пасмурный. Мать меня поглаживала по голове, угощала брусничным вареньем, но это меня не веселило.

– Ну, пей же, сынок, поскорее. Пей, голубчик... одеваться сейчас надо в школу...

– Подождите! – отвечал я грубо, медленно потягивая чай. – Не обвариться же мне для вас... Успеете с козой на торг!.. Небось – обрадовались...

Одели на меня ситцевую рубашку с горошками, сапоги с голенищами, дали гривенник, благословили и повели меня в школу.

Митрошка

Митрошка, угловатый и молчаливый мальчик в длинных отцовских брюках, с вихрами всклокоченных волос на большой, похожей на жбан голове, был сыном пьяницы портного Клим Филатова.

Родился Митрошка кругленьким, румяным, с серыми умными глазами, с серьезным вдумчивым личиком. Когда бабка приняла его от матери, свила в пеленки, ошептала молитвами и положила в люльку, Митрошка, как большой и понятливый, серьезно огляделся вокруг, чмокнул губками и глубоко, по-мужицки вздохнул.

– Чевой это ты вздыхаешь, андельская душенька? – любовно спросила его слабая и больная мать.

– Настоящий дьякон соборный будет!.. Ишь грудастый да сурьезный какой... Весь в отца! – с умилением говорил Клим, с гордостью поглядывая на своего первенца. – И лоб отцовский, и глаза как у меня...

– Сравнил яичницу с колокольной! – недовольно заметила жена. – Сам ты, как еж... Стымой, как палка с набалдашником, опухший весь от пьянства-то, – а он-то, цветочек, как херувим, как яблочко наливное!.. На радость ли родился мой болезный? – скорбно спрашивала мать Митрошку.

Митрошка сжал губы, глубоко вздохнул и деловито обвел своими большими раздумными глазами грязные стены своего жилища, закопченный потолок, большой портняжный стол и низенькое подслеповатое оконце с радужными от грязи стеклами, на которых красовались вырезанные из бумаги ножницы и брюки. «Живете-то вы неважно... Черно у вас и неуютно!» – казалось, говорили его большие удивленные глаза.

* * *

Одиноким, нелюдимым рос Митрошка в маленьком захолустном городке, на берегу омутистой речки Колотовки.

Заберется, бывало, он на старую над рекой иву, часами смотрит вдаль, думает о чем-то и тихо рассуждает сам с собой.

Раз подслушали его слова.

– Ты, ветер, не особенно злись! – укоризненно говорил он. – Поласковее дуй... А то как дунешь что есть мочи, наша фатера так и ходит, словно на ходулях...

Когда я большой вырасту, то всенепременно пойду искать золоты ключи в Волге-матушке... Злой чародей бросил их, чтобы люди больше страдали и мучились... А ключи те – от счастья и радости человеческой... Сказывала мне бабка: коли найти эти ключи, так людей от нищеты и болезней спасешь... А как найти их?.. Вот в этом и загвоздка!..

Поймает Митрошка жирного хозяйского кота Сеньку и говорит с ним как с человеком, понятливым и рассудительным.

– А мой тятка сёдни опять загулял! – жаловался Митрошка, поглаживая кота по спине. – Ушел ни свет ни заря... взял под мышку чужие брюки, пропьет, придет домой вдрызг пьяным и будет бредить, чертей отгонять... Боюсь страсть, когда пьяные бредят!..

Хорошая у вас жизнь, кошачья физия... Сытая. Картофеля и копченой селедки сколько хошь, столько и ешь!.. Куды захотел, туды и побег!..

Кот Сенька слушает Митрошку внимательно, щурится от солнышка и мурлычет, словно понимает.

– Ну какая это жисть! – жалостливо пенял Митрошка. – Сёдни стянул я с полки копченую салачину, а тятка поймал меня и по спине два раза огрел аршином. Эва, погляди, рубцы на спине какие!..

Митрошка поднимает свою рваную ситцевую рубашку и показывает коту худощавую спину в синих рубцах...

Кот урчал и ласково юлил около Митрошки.

– Чудной ты у нас, Митрошка! В кого это ты уродился таким? – спрашивал пьяный Клим, обняв его за шею. – Когда родился только, ты умнее горазд был!.. Вдыхал ты да ворковал, как отец дьякон... Удивил всех. Думали, что из тебя умный человек выйдет... А теперь девять лет тебе, и умственных способностей у тебя не ощущается... С котами по-человечески рассуждаешь... Разве коты могут понимать тебя?.. Сёдни опять учительша жалилась на тебя, что ты по рихметике плохо учишься... Все колы тебе ставят. Поговорить ты с людьми не умеешь... А если и скажешь слово, так на пятачок убытку и осрамишь всю губернию!..

– Не знаю, тять! Каков уродился, таков и есть! – отмалчивался Митрошка, опустив глаза в землю. – Я больно природу люблю, сёдни закат был прекрасный! – одушевлялся Митрошка, и бледные щеки его вспыхивали румянцем. – Краски на небе разные-преразные... солнышко красное было, как огонек в красной лампаде, и оно таяло так тихо-тихо и словно, тять, в какое-то розовое море опускалось... Тять, грустно мне бывает, когда солнышко погасает... я всегда протягиваю руки к солнышку, словно задержать его хочу... а оно гаснет тихо, тихо, как песня. Тять, можно остановить солнышко, чтобы оно всегда светило и не закатывалось?

– Нельзя! – шептал Клим, поникнув кудлатой головой и думая о чем-то неотвязном, безрадостном.

– Почему, тять, все хорошее и светлое так скоро кончается?..

Тять, уйти бы в луга, в цветы... маленькую избу построить на берегу реки, около леса... чтобы вдали церковь была маленькая, старинная, как у нас на селе, и по утрам и вечерам звонили бы в маленький колокол... я, тятка, звон страсть как люблю!.. Мне учительша про рихметику толкует, а у меня перед глазами луга цветистые, леса черные, как в сказке, а в ушах звон речки, шелест

травы и чья-то песня вроде той, что певают деды у монастырских ворот.

– Чудной ты, Митрошка...

– Тятка, что, душа у кота есть?

– Дурында ты большая, Митрошка! Кто же ему мог душу всунуть! Ведь кот-от бездушный!

– И коты, значит, не могут понимать нашего разговору?

– Коты-то? – переспрашивает Клим, видимо, озадаченный вопросом, и, не удовлетворив Митрошку ответом, шепчет раздумчиво:

– Дурында ты, Митрошка, писаная. .

– Тятка, зачем меня на улице ребятишки побогаче голодранцем зовут?

– На то они и богатые, чтобы над бедными издевки творить!.

– А почему ты не разбогател?

– Потому что ума у меня много! Умные люди завсегда не жравши сидят. .

Лежит Митрошка на берегу речки Болотовки, слушает, как поет она, и думает: как бы найти золотые ключи в Волге-матушке и раскрыть райские двери...

И не будет тогда бедности и слез, и ребятишки побогаче дразнить тебя не будут, и не будут бить аршином за украденную салаку, и солнышко золотое, доброе будет светить всегда...

Как бы найти ключи заветные от радости и счастья человеческого?

* * *

Митрошке пятнадцать лет. Такой же задумчивый и угловатый, в длинных отцовских брюках и с вихрами волос. Книжки стал доставать читать, с кошками перестал дружбу водить и в укромном уголку стал что-то писать.

Придет Клим пьяным, лежит на полу и бредит...

В окно дождь сочит осенний. Ветер рвет ставень и завывает в трубе. Мать сидит у окна и шьет при свете маленькой лампы.

Митрошка лежит на портняжном столе и пишет огрызком карандаша на серой лавочной бумаге.

– Чевоу ты, сынок, там пишешь?

– Так, ничего! – отвечает Митрошка.

Раз Митрошку услали в лавку за селедками. А Клим вынул из его сундучка «писанья» и стал читать по складам:

– «Жить надо, как следовать быть... Любовь должна как солнце светить на земле, и каждый из человекoв из всех сил должен стараться найти золотые ключи человеческого счастья. У нас нет жизни – а есть слезы...

...Хорошо быть с природой. Она имеет очень понятливую душу. Глядишь на нее, и на душе у тебя радостно и покойно... И хочется мне с тяткой и мамкой уйти очень далеко...»

– Ишь ты, какой занятный! – самодовольно бормочет Клим, – Агафья, послушай, что наш Митрошка-то пишет:

«Видел я сон. Как будто бы я шел по очень большому полю и на мне была одежда, как у архангела, что на картине, и одежда эта белая – снега белее, и в руке у меня восковая свеча, и горит свеча очень светло и всю дорогу освещает, а дорога была гладкая. На душе у меня была такая радость, как в тот день, когда тятка не пьянствует и мы пьем чай с баранками...

И вот подул ветер, сильный-пресильный... и потушил мой огонек.

И темно сделалось вокруг. И на душе у меня было очень страшно.

Я проснулся, была ночь, тятка лежал на полу пьяный и бредил...»

– Чудной Мит ронжа! – растроганно шептал Клим, всплакнув над его писаньем.

Древний свет

Дом Федота Абрамовича Дымова построен при Николае I. Сложен он из просмоленных кряжистых бревен, ставших от времени сизыми, с за-зеленью. Три маленьких окна со ставнями выходят на людную Торговую улицу, застроенную новыми каменными домами. На прожженных солнцем ставнях – вырезанные сердечки. Крыльцо опирается на два столбика, когда-то крашенных в синий старообрядческий цвет. Над входом прибита медная икона. Ступени крыльца скрипят.

Если открыть тяжелую дубовую дверь в сени, то на притолоке можно увидеть следы давнего русского обычая – выжженный огнем четверговой свечи крест, избавляющий дом от вхождения духа нечиста. Из-под крыши вылетают ласточки. Над домом шумят высокие разлапистые клены. Здесь часто пахнет хвойным деревенским дымом – в сквозной полумгле сеней разжигается самовар сосновыми шишками. На дворе крапива, задичавший малинник, бревенчатый сруб колодца, сарай, крытый драньем. У сарая два пыльных колеса и опрокинутые сани.

Захолустное строение чуть ли не в центре города вызывает насмешки и озабочивает городскую управу: дом не на месте и не соответствует теперешнему стилю.

Сын Федота Абрамовича, Артемий, бойкий, идущий в гору торговец, ждет не дожидается смерти старика – дом сразу же он снесет и на его месте построит доходное каменное здание. Артемий не раз предлагал отцу снести столетнюю постройку, но тот хмурился и отрывисто возражал:

– Никаких! Дождись моей смерти, а там как знаешь!

Сын пробовал было намекнуть, что городская управа в интересах строительства города намеревается так и так распорядиться о сносе дряхлых домов, но получал еще более упрямый отпор:

– Не имеют законного права! Моя собственность!

В один из летних вечеров я пошел навестить Федота Абрамовича. Тесные сени пахнут сухими вениками, можжевельником и дымом. По утлым половицам я добрался до двери, обитой войлоком. Нащупал проволоку, протянутую к колокольцу, и позвонил. Колоколец старый, на валдайских заводах отлитый. Звон его замечательный. В бытность Федота Абрамовича ямщиком он был украшением тройки. Когда слушаешь его, то невольно вспоминаешь старинные русские дороги, по которым рассыпалась побежчивая гредь, русских людей, сидевших в кибитке, то хмельных, то влюбленных, то иступленных, тоскою и буйным весельем одержимых... Пушкин с Гоголем вспомнится... Версты полосаты, дорожные подзимки, горький дым деревень, поволье ветреных полей, морозная ткань на окнах постоянного двора. Много передумашь, пока туговатый на ухо Федот Абрамович не шелохнется, не зашаркает по липовому полу в своих мягких домовиках и не окликнет:

– Кого Бог привел?

Он распахнул дверь, взгляделся и с непередаваемым, отживающим теперь русским радушием раскинул ржаные крестьянские руки.

– Ба! Пачечайный гость! Милости просим, нерасстанный друг мой!

Не успел слова сказать ему, Федот Абрамович уже побежал в сени, вытряхает самовар, льет воду, трещит лучинками и, по старой своей привычке, напевает старинным деревенским ладом:

Цвели в поле цветики да поблекли.
Любил парень девушку да спокинул,
Покинул, душа моя, не надолго,

На едино времячко, на часочек.

В который-то раз я рассматриваю горенку Федота Абрамовича, и всегда она кажется желанной! Таких горенок скоро не будет. Все в ней от прошлого. В переднем углу редкая драгоценность русской старинной иконописи – преподобный Сергей Строитель. На иконе ветхое, чуть ли не в терему вытканное полотенце. Лампада из толстого багряного стекла в медном висячем кадилыце. Пучок поблекших верб. На особой под иконой полочке скляница с богоявленской водой, огарки свечей от Страстной недели, засохшая просфора, завернутый в бумагу святой пасхальный хлеб – артос, кожаный синодик с именами усопших – первыми записаны император Александр Второй – Освободитель, иеросхимонах Амвросий, блаженная Ксения. Длинный перечень имен завершается словами: «И всех сродников от века преставшихся помяни, Господи». Рядом с иконами редкие, на русских ярмарках купленные литографии: «Святая Гора Афон», «Возрасты человека», «Страшный Суд», «Сожжение протопла Аввакума».

На резной дубовой полке книги в старых кожаных переплетах – «Добротолюбие», «Патерик», «Часослов», «Житие преподобного Александра Свирского». Если взять одну из них и вдохнуть листы ее, то запахнет сушеными яблоками. Вдоль стен длинные дубовые скамьи, нескладные, но прочно сбитые табуреты с выжженными ржаными снопами на сиденье. В углу на дубовых колесиках тяжелый сундук, окованный железом, и в недрах его что ни вещь, то столетие...

Старый дом вздрагивает от проезжающих мимо автобусов и грузовиков. Слушаю пугливую его дрожь и думаю: «Все это прошлое, освященное любовью и молитвенным шепотом, перейдет к новому человеку, торгашу Артемию. Ничего он не сбережет. Что поценнее, как, например, икона Сергия Строителя, продаст, а остальное пожжет или на чердак выбросит».

– Не соответствует веку! – скажет он любимую свою фразу и тоненько захихикает.

В раскрытые окна входит вечер. Клены рассыпают прохладу. На их листьях качается завечеревшее солнце.

Шумит самовар, на нем отчеканено: «Фабрика в Туле братьев Стрельниковых». Федот Абрамович ставит большие синие чашки с золотой надписью по-славянски: «Приемлю и ничесоже противнаго глаголю». По ободку деревянной тарелки, где лежит хлеб, вьется резная русская пословица: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». На деревянной чашке с медом ложка монастырской работы, а на донце ее мелко-мелко выжжена Троице-Сергиевская Лавра.

Федот Абрамович разливает чай. На левом плече у него полотенце. Сам весь улыбается – рад почаевничать с пачечайнньш гостем.

– Вот и хорошо, что Господь надоумил тебя навестить старого! Кроме святого угодника, – кивает он на икону, – никого у меня! Один, как часовня в поле!

– Артемий Федотыч, поди, заходит! – добавил я.

Старик мотнул головою:

– И-и! Третий месяц глаз не кажет! Некогда. За наживой гонится, неумная душа! Эх, деньги, деньги, семена дьявола... Пристают тут ко мне Артемка смолою едучей: сноси-де дом! Новый построим. В пять этажей. Под кино да торговые ряды сдавать его будем. Дело-то, поди, и выгодное, но поверь, дружище, не могу со своим домом расстаться. Как подумаю об этом, так и затрясусь и ослабну весь. Мы, старики, не умеем иначе жить, чтоб не срастись душою и телом с привычным, дыханием обогретым местом... Пусть подождет Артемий. Жить мне осталось немного – во рту уж земляная горечь, матушка земля к себе зовет!

Стараясь быть спокойным, он спросил меня словно невзначай:

– А правда, бают люди, что закон такой выходит, старые дома ломать?

– Поговаривают, но...

Он не дал мне досказать.

– Ну что ж. Против рожна не попрешь! Да, строится жизнь, шибко строится, а лет тридцать тому назад на нашей улице рожь росла и жницы песни пели... Города нашего не узнать. Там, где теперь лесопильный завод, кладбище было старинное. Дубы росли. На синей горе стояла церковь ев. Федора Стратилата, а теперь ресторан. Вокруг города большие леса шумели, а теперь их повырубили. Скоро и мы, старики, перестанем отсвечивать. «Имя наше забудется, – как говорит премудрый Соломон, – никто не вспомнит о делах наших, и жизнь наша пройдет, как облако, и рассеется, как туман».

– Трудно, поди, благословить вам нашу теперешнюю жизнь? – спросил я Федота Абрамовича,

– Как тебе ответить, родной мой? Мог бы и благословить ее, если человек души своей не утратил. С новым человеком я разговаривать не могу. Не живой он. Теплом от него не пахнет. Не люди, а заводные машины какие-то пошли. Ни одного лица мало-мальски светлого не встретишь... Наша стариковская жизнь, не спорю, была со всячинкой: серой, дикой и неустроенной, но зато от многих сияние шло, Христос по земле любил ходить...

Заря за окнами затуманилась тучами. Пахло дождем. В горнице потемнело. На улице трещало радио, У промчавшегося автомобиля лопнула шина. Черным дымом дымила фабрика, окутывая синие купола собора. Со спортивного плаца доносился вой футболистов. В городском саду оркестр играет модный шлягер «Твои ноги, как змеи».

– Эх их, шумят! – мягко воркотнул Федот Абрамович, кивнув на улицу. – Под вечер-то хоть отдохнули бы. Мучает себя человек шумом. Поди ведь, у всякого востосковала душа по земле Божьей, по тихой поступи... Нужен человеку покой, ой как нужен! По малообразованию своему трудно мне изъяснить теперешнее положение мира, но чувствую: нескладная и тяжелая у человека жизнь!

Но уходя от Федота Абрамовича, я оглянулся на его дом. Из всех домов на этой улице только в нем одном всегда теплилась лампада. Древний свет ее в эту ночь казался последней светящейся точкой старости, уходящей в синие предвечные дали.

Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, принимает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде веселой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

– Если принесёшь из школы плохие отметки, то елки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, – подумал я, – посмотрим... Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я ее на пятерку исправлю... За арифметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, – ее тоже на пятерку исправлю...»

Когда все это я сообразил, то сказал родителям:

– Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил его:

– Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

– Пока нет, но скоро услышу!

– Когда же?

– А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить начнет, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

– Ты чего губы надул? – спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

– Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

– А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и еще пуще рассердился.

Рождество подходило все ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались елочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каемками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но все же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арифметику и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву, и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арифметику поставили тройку, а за поведение – пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелют половики, затеплят лампы перед иконами и впустят его...

Наступил сочельник; он был метельным и белым, белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: «Необыкновенный снег... как бы святой! Ветер, шумящий в березах, – тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те... По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и, как чудной, чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово – «Рождество».

Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошелся по базару, где торговали елками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шудлы-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты).

В саду никого – одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлету в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришел домой и увидел под иконами маленькую елку... Сел с ней рядом и стал петь сперва бормотой, а потом все громче да громче «Дева днесь Пресущественнаго раждает» и вместо «волсви. со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют». Отец, прослушав мое пение, сказал:

– Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя.

Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие.³

Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:

– Наверное, шел тогда снег и маленькому Иисусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

– Ты что заканючил? – спросили меня с беспокойством.

– Ничего. Пальцы я отморозил...

– И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олетывал в такую зябь!

И вот наступил, наконец, рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всем новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звезд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей радости, нашел ее. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь, – отовсюду идет сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий – в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились.

В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

– Я видел на небе рождественскую звезду... Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

– Звезда эта обнаковенная! Вега прозывается. Ее завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок.

Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

– После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго, долго... Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдет нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала еще тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него проясненностью воскликнул:

– С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

– С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл Царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

– Услышите до последних земли, яко с нами Бог, – гремел хор всеми лучшими в городе голосами. – Могущий покоряйтесь, яко с нами Бог... Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам – яко с нами Бог... И мира Его нет предела – яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли Царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

³ Волхвы (церк. – слав.).

После возгласа, сделанного священником, тонко, тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твое, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) елку от лампадного огня. Елка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришел однолесток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную елку и сказал слова, которые всем нам понравились:

– Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под елку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по строкам, стали с ним петь: «Рождество Твое Христе Боже наш».

В этот осветленный вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы ее шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели: «Рождество Твое, Христе Боже наш».

Крещение

В крещенский сочельник я подрался с Гришкой. Со слов бабушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба Ангел и освятит на реке воду, и она запоет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили:

– О чем кувикаешь?

– Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью!

Из моих слов ничего не поняли.

– Нагрешник ты, нагрешник, – сказали с упреком, – даже в Христов сочельник не обой- тись тебе без драки!

– Да я же ведь за дело Божье вступился, – оправдывался я.

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выли- вать ее на места попираемые. Отец спросил меня:

– Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недав- ний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать ска- зала:

– Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет – точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на кото- ром поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На кли- росе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой...»

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово «вода». Мне пред- ставлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко сто- ящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развеваю- щий их седые волосы...

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.

– Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздастся, а Гришка не верит... Плохо ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет солнце, Тебе славят луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет...»

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордане крещающуся Тебе Господи, тройческое явися поклонение», и всех окропляли освященной водою.

От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненадаванное счастье, и все будет по-хорошему, как в день ангела, когда отец «осеребрит»

тебя гривенником, а мать пяточком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед возжженным светильником, и священник сказал народу:

– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.

Так же, как и на Рождество, в доме держали «дозвездный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу— навечерницу. Печеную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозники (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-рождественскому – великим повечерием. Пели песню «Всяческая днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углем начертание креста на дверях, притоках, оконных рамах— в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладким и многоводным, а девушки «величают звезды». Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог, якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривает:

– Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и долодливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещеного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоеет полнощная вода...

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном «численнике» покажется красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра пойдем на Иордань!

Кануны Великого Поста

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая – государыня масленица будет метельной! Прошел апостол Тимофей полужимник; за ним три вселенских святителя; св. Никита, епископ Новгородский, – избавитель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сретения Господня – были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого намерзания, морозы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо – прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и березовые сережки. Сердце похоже на птицу, готовую к полету.

В лютый мороз я объявил Гришке:

– Весна наступает!

А он мне ответил:

– Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака тут весна, ежели птица на лету мерзнет!

– Это последние морозы, – уверял я, дуя на окоченевшие пальцы, – уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам воет... Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:

– Бежит время... бежит... Завтра наступает Неделя о мытаре и фарисее. Готовьтесь к Великому посту – редька и хрен да книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост – это весна, ручьи, петушиные вскрики, желтое солнце на белых церквях и ледоход на реке. За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную молитву: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утреннует бо дух мой ко храму святому Твоему».

С мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. Перед обедом и ужином молились «в землю». Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Великого поста я спешил взять от зимы все ее благодатности, катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась по-церковному – Неделя о блудном сыне. За всенощной пели еще более горькую песню, чем «Покаяние», – «На реках Вавилонских».

В воскресенье пришел к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама»:

Раю мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.

Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводьями. Прозывались они Божьими певунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе Архангела, об Иоасафе-царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила:

– Мастерница была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения!..

– Когда-то и я на ярмарках пел! – отозвался Яков. – Пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест с себя сымет! Все дел о забудет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант!

– Теперь не те времена, – вздохнула мать, – старинный стих повыветрился! Все больше фабричное да граммофонное поют!

– Так-то оно так, – возразил Яков, – это верно, что старину редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия, человека Божия, или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! Потому что это... русскую в этом стихе услышат... Прадеды да деды перед глазами встанут... Вся история из гробов восстанет!.. Да... От крови да от земли своей не убежишь. Она свое возьмет... кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знаменiem весны – она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался.

– Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки!

Наступила Неделя о Страшном Суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зерен – в знак веры в воскресение из мертвых. В этот день церковь поминала всех «от Адама до днесь усопших в благочестии и вере» и особенное моление воссылала за тех, «коих вода покрыла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попаленных, зверьми и гадами умерщвленных, от мороза замерзших...» И за тех «яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или персть посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления...»

В воскресенье читали за литургией Евангелие о Страшном Суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдаленные раскаты грома. Во мне боролись два чувства: страх перед грозным Судом Божиим и радость от близкого наступления масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился и сказал:

– Прости, Господи, великие мои согрешения!

Масленица пришла в легкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудреные, но завлекательные слова:

«Кинематограф “Люмьера”. Живые движущиеся фотографии и кроме того блистательное представление малобариста геркулесного жонглера эквилибриста “Бруно фон Солерно”, престижиджитатора Мюльберга и магико-спиритическ. вечер престижиджитатора, эффектиста, фантастического вечера эскамотажа, прозванного королем ловкости Мартина Лемберга»⁴.

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испеченный блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там все было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался – встреча; вторник – заигрыши; среда – лакомка; четверг – перелом; пятница – тещины вечерки; суббота – золовкины посиделки; воскресенье – проводы и прощенный день. Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гуленой, Красавой. Пели песни, вытканые из звезд, солнечных лучей, месяца – золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в своих вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Наступило Прощеное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться

⁴ Престижиджитатор (из фр.) – фокусник, эскамотаж (из фр.) – фокус с прятанием чего-л., малабарист (из. исп.) – жонглер.

с усопшими сродниками. В церкви после вечерни священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите, Христа ради», – и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в деревне зорнили пряжу, т. е. выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий пост почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох.

Великий Пост

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо открывают!»

Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снетки, постный сахар... Из деревень привезли много веников (в чистый понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно:

- Грибки монастырские!
- Венички для очищения!
- Огурчики печерские!
- Снеточки причудские!

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха, и от мороза только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слышимые слова:

«Господи, Иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся...»

Все опустились на колени, и лица молящихся – как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный Суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около Распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.

После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящихся... даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода... А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером...»

Я задумался над словами Якова и перестал есть.

– Ты что не ешь? – спросила мать.

Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:

– Хочу быть святым Ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:

– Ишь ты, какой восприимчивый!

Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию.

Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похоже на тихие деревья в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника – тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели – тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце: «Помощник и покровитель бысть мне во спасение: сей мой Бог и прослаблю Его, Бог Отца моего и вознесу Его, славно бо прославился...»

К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Критского: «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний; кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»

Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:

– Сядь на скамейку и отдохни малость...

Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши!»

Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься. Батюшка читает: «Согреших, беззаконовах и отвергох заповедь Твою...»

Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя...»

Когда шли из церкви домой, дорогой я сказал отцу, понутив голову:

– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!

Отец ответил:

– Бог простит, сынок.

После некоторого молчания обратился я и к матери:

– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел.

И мать тоже ответила:

– Бог простит.

Засыпая в постели, я подумал: «Как хорошо быть безгрешным!»

Торжество Православия

Отец загадал мне мудреную загадку: «Стоит мост на семь верст. У конца моста стоит яблоня, она пустила цвет на весь Божий свет».

Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий пост и Пасха.

Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, державший блюдо, сказал мне:

– Не многовато ли будет?

Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В эти богоспасенные дни (так еще называли пост) я часто подходил к численнику и считал листики: много ли дней осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой субботы, а дальше уж не заглядывал – не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова:

Возсия благодать Твоя, Господи,
возсия просвещение душ наших;
отложим дела тьмы,
и облечемся во оружие света:
яко да преплывше поста великую пучину.

Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам «Сокровище духовное от мира собираемое» св. Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в день ангела:

«Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их: так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли, и слагать их в клетки сердца своего, и теми душу свою созидать».

Многое что не понимал в этой книге. Нравились мне лишь заглавия некоторых поучений.

Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтешь, например: «Мир», «Солнце», «Сеятва и жатва», «Свеща горящая», «Вода мимотекущая», а мать уж и вздыхает:

– Хорошо-то как, Господи!

Отец возразит ей:

– Подожди вздыхать... Это же «зачин».

А она ответит:

– Мне и от этих слов тепло!

Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни ей полюбившиеся заглавные слова:

– Свеща горящая... Вода мимотекущая...

Наш город ожидал два больших события: приезда архиерея со знаменитым протодьяконом и чина провозглашения анафемы отступникам веры.

Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе, и в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: «с проклятыцем, матушка». При слове «анафема» мне

почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну.

День этот был мгlistым, надутым снегом и ветром, готовый рассыпаться тяжелой свинцовой выюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я все же стоял в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал двенадцать священников и четырех дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный протодьякон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, как большая туча по небу, выюжно шумя синим своим стихарем, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге и однажды, тяня бечеву, запел песню на все волжское поволье. Услыхал эту песню проезжавший мимо Московский митрополит. Диву он дался, услышав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили «во вся тяжкая» колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сановитый монах в собольей шубе, опираясь на черный высокий посох. Лицо монаха властное, хмурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке.

В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколебались, со страхом взглянув на медного протодьякона. Он начал возглашать:

– Достойно есть, яко воистину...

К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское «входное», поверх которого шли тяжелые волны протодьяконского голоса: «И славнейшую без сравнения серафим...» Два иподьякона облачали епископа в лиловую мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бубенчиками.

Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше Православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по церковному «Торжеством Православия».

Епископа облачали в редкостные ризы посредине церкви, на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: «Да возрадуется душа Твоя, о Господи!..» Все это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне:

– Закрой рот! Стоишь, как ворона!

– А у тебя сопля течет! – разъярился я на Гришку, толкнув его локтем.

– Чего это вы тут озоруете? – зашипел на нас красноносый купец Саморядов. – Анафемы захотели?

Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодьякон грянул во всю свою волговую силу:

– Тако да просветится свет Твой пред человеки!..

Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул:

– Вот так... голосище!.. Чтоб... его...

Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался; закрыл ладонью рот и стал часто креститься.

На купца взглянули и улыбнулись.

Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протиснуться вперед, но меня не пускали и даже бранили:

– И что это за шкет такой беспокойный!

– Пустите сорванца вперед, а то все мозоли нам отдавит!

Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почетные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом.

Я смотрел на «золотое шествие» духовенства из алтаря на середину церкви при пении «Блаженни нищие духом», на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моление «Призри с небеси, Боже» и осенившего всех нас огнем, – а в это время три отрока в стихарях пели: «Святой Боже, святой Крепкий, святой Бессмертный помилуй нас», – на всенародное умовение рук епископа перед Великим выходом при пении: «Иже херувимы тайно образующе», и все это при синайских громах протодьяконовского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:

– Успокойся, милый, успокойся!

Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении святом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всею силою своего широкого голоса запел прокимен:

– Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог творяй чудеса!

Как бы объятый огнем и бурей, протодьякон бросал с высоты восходницы огненосное, страшное слово: анна-фе-мма!

И опять мне представилась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну.

Все отлучаемые от Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды великоскорбное и как бы рыдающее:

– Анафема, анафема, анафема! – Церковь жалела отлучаемых. В этот мгlistый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью:

«Отрицающим бытие Божие – анафема!

Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог – анафема!

Не приемлющие благодати искупления – анафема!

Отрицающие Суд Божий и воздаяние грешников – анафема!..»

В этот день мать плакала:

– Жалко их... Господи!..

Преждеосвященная

После долгого чтения часов с коленопреклонными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твое...»

Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «преждеосвященная» началась не так, как всегда...

Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: весна! Подошел к амвону. Опустил руки в солнечные лучи и, склонив набок голову, смотрел, как по руке бегали «зайчики». Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и стал креститься.

После чтения первой паремии открылись Царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошел священник с зажженной свечой и кадилом. Он крестообразно осенил коленопреклоненных святым огнем и сказал:

– Премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех...

Ко мне подошел приятель Витька и тихо шепнул:

– Сейчас Колька петь будет... Слушай, вот где здорово!

Колька живет на нашем дворе. Ему только девять лет, и он уже поет в хоре. Все его хвалят, и мы, ребяташки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением.

И вот вышли на амвон три мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами и так напомнили трех отроков-мучеников, идущих в пещь огненную на страдание во имя Господа.

В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки.

Три мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели:

– Да исправится молитва моя... Яко кадило пред Тобою... Вонми гласу моления моего...

Колькин голос, как птица, взлетает все выше и выше и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьется на мелкие хрусталики.

Я слушаю его и думаю: «Хорошо бы и мне поступить в певчие! Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь... Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: “Ай да Вася! Ай да молодец!”. И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын...»

Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках.

Витька – первый баловник у нас на дворе, и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на голубых мальчиков, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему: – У тебя золотой волос!

Витька не расслышал и ответил:

– Да, у меня неплохой голос, но только сиплый маленький, а то я бы спел!

К нам подошла старушка и сказала:

– Тише вы, баловники!

Во время великого входа вместо всегдашней «Херувимской» пели:

«Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершена доприносится».

Тихо-тихо, при самой беззвучной тишине батюшка перенес Святые Дары с жертвенника на престол, и при этом шествии все стояли на коленях лицом вниз, даже певчие.

А когда Святые Дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечныя будем».

По закрытии Царских врат задержали алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным. Витька мне шепнул:

– Иди, скажи сторожу, что занавеска не задержалась!..

Я послушался Витьку и подошел к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника.

– Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так...

Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул:

– Тебя забыли спросить! Так полагается...

По окончании литургии Витька уговорил меня пойти в рощу.

– Подснежников там, страсть! – взвизгнул он.

Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи и громко вразлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя», – и чуть не переругались из-за того, чей голос лучше.

А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу... А что кричали, для чего кричали – мы не знали.

Затем шли домой с букетиками подснежников, и я мечтал о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь: «Да исправится молитва моя».

Исповедь

– Ну, Господь тебя простит, сынок... Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то три целковых плочено, – напутствовала меня мать к исповеди.

– Деньги-то в носовой платок увяжи, – добавил отец. – свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятак. Да смотри, ежова голова, не проиграй «в орла и решку» и батюшке отвечай по совести!

– Ладно! – нетерпеливо буркнул я, размахисто крестясь на иконы.

Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:

– Простите меня, Христа ради!

На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.

Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.

– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.

– Исповедаться! – важно ответил я.

– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой мучеником», – осклабился дворник.

На это я буркнул: ладно!

Мои приятели Котька Лютюв и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей заправду.

Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.

– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька. – В пальте новом... в сапогах, как кот... Обувь лаковая, а рожа аховая!

– А твой отец моему тятке до сих пор полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:

– Сапожные шпильки!

Ах, с каким бы наслаждением я наклепал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятка сапожник... Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь!

Гудят печальные великопостные колокола.

«Вот уж... после исповеди я Котьке покажу!» – думаю я, подходя к церкви.

Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала «великого повечерия». С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:

– Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!

Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.

«Одежу и сапоги измызгаешь, – вздыхаю я, – нехорошо, когда ты во всем новом!»

– И вот, светы мои, в пустыни-то этой подвизались три святолепных старца, – рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. – Молились, постились и трудились... да... трудились... А кругом одна пустыня...

Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.

– Васька! И ты исповедаться? – раздается сиплый голос Витьки.

На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по заливку.

– Пойдем, сыграем в орла и решку, а? – упрасивает меня Витька, показывая пятак.

– С тобой играть не буду! Ты всегда жулишь!

– И вот пошли три старца в один град к мужу праведному, – продолжает дядя Осип.

Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»

Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках.

– Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? – ласково спрашивает меня.

Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:

– Не... у нас полка высокая!..

И когда спросил он меня: «Какие же у тебя грехи?» – я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод.

«Вот, вот, – встревожился я, – сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия...»

И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: кайся!

Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.

– Батюшка... – произношу сквозь всхлипы, – я... я... в Великом посту... колбасу трескал! Меня Витька угостил... Я не хотел... но съел!..

Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные, светлые слова.

Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично.

– Ты что?

– Батюшка! У меня еще один грех. Забыл сказать его... Нашего дворника Давыда я называл «подметалой мучеником»...

Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался.

Дома лежу в постели покрытый бараньей шубой и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному напевает: «Волною морскою, скрывшаго древле». А за окном шумит радостный весенний дождь...

Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблоками и друг у друга просим прощения.

– Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал!

– И ты, Котя, прости меня. Я тебя шкилетом ругал!

А кругом рай Господень и радость несказанная!

Причащение

В Великий четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю, варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному – не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала.

– Это не по-деревенски, – говорила она, – не по нашему обычаю!

– А как же у Григорьевых, – спросишь ее, – или у Лютых? Красятся они у них в самый разный цвет и такие приглядные, что не нагладишься!

– Григорьевы и Люты – люди городские, а мы из деревни! А в деревне, сам знаешь, обычаи от Самого Христа идут...

Я нахмурился и обиженно возразил:

– Нашла чем форсить! Мне и так никакого прохода не дают: «деревенщиной» прозывают.

– А ты не огорчайся! Махни на них рукой – вразуми: деревня-то, скажи, Божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое – не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего: форсит! Деревенского языка не бойся – он тоже от Господа идет!

Мать вынула из чугунок яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала:

– Поставь под иконы. В Светлую заутреню святить понесешь...

На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его черным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки:

– Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья!

Великий четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладонь и пил – говорят, что от нее голова болеть не будет...

Под деревьями лежал источенный капелью снег, и, чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам.

В десять часов утра ударили в большой колокол к четверговой литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Тайн.

Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую.

Много кружилось чаек, и они белизною своей напоминали издали летающие льдинки.

Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы) и каждый камень и камешек будет теплым от солнца.

В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня Страстной недели, когда пели «Се Жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.

Вчера и раньше все напоминало Страшный Суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?

Священник был не в черной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони – особенно девушки.

На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:

– Чудесная русская вышивка!

Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.

Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим выходом: «Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

– Причастника мя приими... – высветлялись в душе серебряные слова.

Вспомнились мне слова матери: если радость услышишь, когда причастишься, – знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил.

С волнением ожидал я Святого Таинства.

«Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я?»

Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел на амвон священник с золотой Чашей и раздалися слова:

– Со страхом Божиим и верою приступите!

Из окна прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.

Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошел к Чаше. Слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божьему, пели: «Тела Христова приимите, источника безсмертного вкусите». По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук – прижимал вселившуюся в меня радость Христову...

Мать и отец поцеловали меня и сказали:

– С принятием Святых Тайн!

В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям – самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоя тайная... причастникамя приими».

И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мной на сожжение солнцу:

– Пускай доживал бы крохотные свои дни!

Двенадцать Евангелий

До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.

– Евангельский огонь, – уверяла мать, – избавляет от скорби и душевной затеми!

Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:

– Ничего себе, но у меня лучше! – при этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами. – Такой фонарь, – убеждал Гришка, – в самую злую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!

Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?

Свои опасения поведал матери. Она успокоила:

– В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому – в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь и доносила.

Предвечерье Великого четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.

– Тихо-то как! – заметил матери. Она призадумалась и вздохнула:

– В такие дни всегда... Это земля состраждет страданиям Царя Небесного!..

Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.

От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как занавесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.

Начиналось чтение двенадцати Евангелий. По середине церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письма у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».

Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском, всеми оставленный, – и в глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь... После ектении, в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся», – на клиросе запели, как бы одним рыданием: «Еще славнии ученицы на умовении вечери просвещася».

У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете – световидные и милостивые.

Из алтаря, по широким унывым разливам четвергового тропаря, вынесли тяжелое, в черном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Все стало затаенным и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.

С неуголимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия: «Слава отрас-тем Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится теплой и нежной. В ее огоньке тоже живое и настороженное.

Во время каждения читались слова как бы от имени Самого Христа.

«Людие Мои, что сотворих вам, или чем вам стужих: слепцы ваша просветих, прокаженные очистих, мужа суца на одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам, и что Ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити Мя, ко кресту Мя пригвоздиша».

В этот вечер до содрогания близко видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали, распинали и как Он прощался с Матерью.

«Слава долготерпению Твоему, Господи».

После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели «светилен».

«Разбойника благоразумнаTM во едином часе раеви сподобил еси Господи; и мене древом крестным просвети и спаси».

С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни – идут из других церквей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск, и на черном небе, таком просторном и божественно мощном, много звезд.

– Может быть, и там... кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки?

Плащаница

Великая пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучило, заветрило и потяжелело.

– Будут стужи и метели, – зябко уверял нищий Яков, сидя у печки, – река сегодня шу-у-мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!

По издавнему обычаю, до выноса плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь – чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.

– Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху? – спросил меня Яков. – Не знаешь. «Светозар-день». Хорошие слова были у стариков. Премудрые! – Он опустил голову и вздохнул: – Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся!

– Хорошо-то оно хорошо, – размышлял я, – но жалко! Все же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей... посмотреть, как солнце играет... яйца покатаь, в колокола потрезвонить!..

В два часа дня стали собираться к выносу плащаницы.

В церкви стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать...

А Он будет утешать Ее словами: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе... Возстану бо и прославлюся...»

Рядом со мной встал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках.

– Ты что такой мазанный? – спросил его.

Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:

– Десяток яиц выкрасил!

– У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! – указал Витька.

– Да ну? Поплюй и вытри!

Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и еще пуще размазал его.

Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.

– Иди вымойся, – шепнул я ему, – нет сил смотреть на тебя. Стоишь как зебра!

На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, и не поют птицы, и по реке ходит колышень: «Вся тварь изменяется страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе. Солнце омрачаша, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе».

Время приближалось к выносу плащаницы.

Едва слышным озерным чистоплеском, трогательно и нежно запели: «Тебе одеющего светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и виде мертв, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».

От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.

Смущенный и красный, прикоснулся свечой к ее огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покраснела.

Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для нее гробницу.

Батюшке помогали нести плащаницу самые богатые и почетные в городе люди, и я подумал: «Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!»

Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Все понятно, и без того больно».

Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя: «Больше не буду».

Когда все было кончено, то стали подходить прикладываться к плащанице, и в это время пели:

«Приидите ублажим Иосифа приснопамятного, в нощи к Пилату пришедшаго... Дажь ми Сего страннаго, Его же ученик лукавый на смерть предаде...»

В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся Страстем Твоим, Христе, и святому Воскресению».

Канун Пасхи

Утро Великой субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе «Двенадесятых праздников» с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное... Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и, наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.

Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась:

– Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!

Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца!

Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:

– Почему люди спят, когда рань так хороша?

Отец ничего не ответил, а только вздохнул.

Глядя на это утро, я захотел никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно – сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее.

– Тять! На том свете мы все вместе будем?

Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причем крепко взял меня за руку):

– Много будешь знать – скоро состаришься! – а про себя прошептал со вздохом: – Расстанная наша жизнь!

Над гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:

«Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказанного и неизреченного терпения!»

«Под землею скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейте Спасе».

Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны».

«Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде свет солнца».

«В одежду поругания, украситель всех, облакаешься, Иже небо утверди, и землю украси чудно!»

С клироса вышли певчие. Встали полукругом около плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе, показавшему нам Свет» – запели «великое славословие» – «Слава в вышних Богу...»

Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошенная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.

При пении похоронного, «с завоєм», «Святыи Боже», при зажженных свечах стали обносить плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.

На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая – скоро она совсем пропитается солнцем...

Когда вошли в церковь, то все пахло свежими яблоками.

Я услышал, как кто-то шепнул другому:

– Семиградский будет читать!

Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и Апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрысник сюртуке Семиградский с большой книгой в дрожащих руках подошел к плащанице. Всегда темное лицо его, с тяжелым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.

Широким, крепким раскатом он провозгласил: «Пророчества Иезекиилева чтение...»

С волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человек! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось, как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью и... встал перед ним «велик собор» восставших из гробов...

С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией Матери». В доме горело уже два огня. Третью лампаду – самую большую и красивую, из красного стекла – мы затеплим перед пасхальной заутреней.

– Если не устал, – сказала мать, приготовляя творожную пасху (ах, поскорее бы разговенье! – подумал я, глядя на сладкий соблазненный творог), – то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!

На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутья вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел: «Завтра Пасха! Пасха Господня!»

Великая суббота

В этот день, с самого зарания, показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолненных руках дворника Давыдки, и они показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому.

– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба... Во второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь. .

Я зашел к Гришке, чтобы и его позвать в церковь, но тот отказался:

– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовенство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников. До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах.

– Дивен Бог во святых Своих, – выкруглял он тернистые слова. – Возьмем, к примеру, преподобного Макария Александрийского, егоже память празднуем 19 января... Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала...

«Что за притча?» – думает преподобный. Нагинаясь он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

– Скажи на милость! – сказал кто-то от сердца.

– Это еще не все, – качнул головою старец, – на другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою...»

Литургия Великой субботы воистину была редкостной.

Она началась, как всенощное бдение, с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в черном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение, Воскресение... Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением:

– Господа пойте и превозносите во вся веки...

Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском:

– Господа пойте и превозносите во вся веки... – Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликнул сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканые глаголы».

– Благословите солнце и луна; благословите дождь и роса; благословите ночи и дни; благословите молнии и облацы; благословите моря и реки; благословите птицы небесныя; благословите звери и вси скоти.

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию:

– Благословите звери!..

«Поим Господеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканых глаголах: Господа пойте и превозносите во вся веки!»

После чтения Апостола вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели: «Воскресни Боже, суди земли, яко Ты наследилши во всех языцех».

Во время пения духовенство в алтаре извлекло с себя черные страстные ризы и облекалось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их в белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всем этом диве рассказать матери...

Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.

– Надо рассказать матери... сейчас же!

Прибежал запыхавшись домой и на пороге крикнул:

– В церкви все белое! Сняли черное, и кругом – одно белое... и вообще Пасха!

Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:

Да молчит всякая плоть человека
И да стоит со страхом и трепетом
И ничтоже земное в себе да помышляет.
Царь бо царствующих и Господь господствующих
Приходит заклатися и датися в снедь верным...

Светлая заутреня

Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?

– В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет, это, в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне... – Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе: – Да... часы на Спасской башне... Пробьют – и сразу же взвывается к небу ракета... а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему, как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над

Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

– Ты засыпаешь?

– Нет. На Москву смотрю.

– А где она у тебя?

– Перед глазами. Как живая...

– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен – речка плещется. В нее таежные деревья глядят и церковь, сбита из крепких смолистых бревен. К светлой заутрени собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскрес», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой вековухей останется!

Ты вообрази только, какое там было диво!

Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят, и лес шумит!

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене соныгами!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке.

Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?

– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!

До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках – только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь?

– Умею.

– Ну, так начинай первым!

Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», – и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

– Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?

– Попробовать хотел!..

– Ты *лучше* куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками, и какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лестница и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскрес из мертвых»... Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши...

Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

– Кто идет?

– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!

И он грохнул...

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилося, а когда прошел гуд его, покатилося другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня заметил в темноте нищий Яков.

– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрестился.

В церкви начали служить великую полунощницу. Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное – словно отваливали огромный камень от гроба Господня.

Я увидел отца с матерью. Подошел к ним и сказал:

– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул: – Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой – если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе,

Ангели поют на небеси». И под эту воскреляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так полагается». – Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратились в ликующие пасхальные свечи!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.